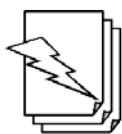


EDITA

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ ОБЪЕДИНЕНИЯ EDITA GELSEN E.V.



**ВЫПУСК 2(60)
2015**

Содержание

Джон Маверик	3
Сергей Чекмаев	8
Кирилл Берендеев	14
Игорь Вереснев	18
Ника Батхан	25
Дмитрий Константинов	27
Максим Тихомиров	28
Владимир Венгловский	32
Геннадий Ядрихинский	37
Игорь Ревзин	49
Антон Первушин	51
Николай Романецкий	56
Дмитрий Гужвенко	59
Дэн Шорин	61
Ирина Клеандрова	63
Рустам Карапетьян	69
Анна Самойлова	71

Что нового?

<http://www.editagelsen.de/>

<http://edita-b.livejournal.com/>

Импрессум

EDITA, Ausgabe 2(60), 2015

Verleger: Literaturverein „Edita Gelsen e.V.“

Postfach 100304, 45803 Gelsenkirchen

Fax: 0209/1702689

Verantwortlich i.S.d.P. A.Barsukov

E-Mail: logobo@gmx.de

Druck – hauseigener Betrieb

ISSN 1866-6310

Выходил ежеквартально

В связи с увеличением объема критических и полемических материалов редакция сообщает: мнения редакции и авторов публикаций не обязательно совпадают.

ПРОЗА

Джон Маверик,
Саарбрюкен, Германия

ТАКАЯ ВЕСНА

Бывает, какая-нибудь идея настолько завладеет человеком, что все прочее для него обесценивается, теряет смысл. Если первые годы жизни в Германии фрау Дойч еще хлопотала о том, о сем, помогала невестке налаживать нелегкий эмигрантский быт, радовалась успехам сына и рождению внучки, то в последнее время ее словно затянуло в мутную воду. О чем бы ни начался разговор — через две минуты он уже крутился вокруг извечной темы: смерти. Как будто ни о чем другом Елизавета Генриховна и думать не могла, а может, не хотела. Интересовал ее, впрочем, не процесс умирания и не загробный мир. Более всего на свете пожилая фрау боялась упокоиться в безымянной могиле, как, вероятно, упокоился муж ее, Роберт, сгинувший в казахских степях.

Она охотно обсуждала собственные похороны, подчеркивая, что все организует сама, на свои деньги, и, действительно, каждый месяц откладывала с пенсии по сорок пятьдесят евро, которые зашивала в наволочку. Все бюро ритуальных услуг в городе она обошла — и всюду брала проспектики. На сон грядущий листала. Присматривала гроб, памятник и место на кладбище, придирчиво, как иные молодожены выбирают участок для нового дома. Стопка проспектов на туалетном столике росла, постепенно отгесняя на край пузырьки с лекарствами. Так, в сердце Елизаветы Генриховны смерть вытесняла жизнь.

Не то чтобы фрау Дойч была такой уж старой, хотя и называть ее молодой — язык бы не повернулся. Она, как законсервированная в банке сардина, вовсе не имела возраста, но в потемках ее души труха сыпалась с полок. Бывает ведь такое, что душа старится раньше тела. Фрау Дойч не менялась, наверное, лет двадцать, разве что смуглела лицом, да запах от ее всегда аккуратной одежды — традиционная брючная пара, блузка с глухим воротничком — становился все более душным. Поджарая и строгая, Елизавета Генриховна всегда ходила в черном, словно уже — заранее — носила траур по самой себе.

Раз в неделю она посещала церковь, но не потому, что верила в Бога. Скорее, Бог, как и все остальное, занимавшее ум, являлся частью ее сценария — приличных похорон. В этом была ее гордость, доказательство ее самости — хотя бы в смерти не зависеть ни от кого.

— Эт, что ж вы, Елизавета Генриховна, не о том думаете, — нагло вато упрекала ее невестка Лена. — Какие ваши годы. Жить да жить, и радоваться. У нас такие бабули, под себя ходят — и ничего. А вы, Елизавета Генриховна, молодую обскачете. В ваши-то годы.

Елена работала на полторы ставки в доме для престарелых, и оттого весь мир ей казался дряхлым и немощным, а свекровь — по контрасту — сильной, как конь.

Фрау Дойч брезгливо морщилась, мол, вам, молодым, не понять. Близкие раздражали. Вроде и попенять им не на что. Трудолюбивые и хозяйство в порядке держат, а все-таки лучше бы они говорили потише, и мелькали пореже, телевизор с компьютером не трогали, о здоровье не спрашивали.

«Какое, к черту, здоровье?» — слышали они в ответ.

Одного только человечка терпела Елизавета Генриховна подле себя. Один человечек заставлял суховатые губы раздвигаться в улыбке. Внучка Софи. Белокожая — в Лену, медные локоны по спине рекой. Хоть и не в Дойчей уродилась, а все равно — своя. Родная. Взрослое дерево трудно приживается на новом месте, болеет и чахнет. Иное дело — молодой побег, идущий от корней. Таким удивительным был этот взошедший на земле предков росток, таким свежим и радостным, что даже ледяной взгляд фрау Дойч теплел, и что-то похожее на любовь сквозило в нем, на восхищение, на жалость... Вот ведь девчоночка, бойкая и красивая — подружки за ней стайками выютяся... харизматичная... а пройдет пара лет, и парни начнут увиваться. Одета только плохонько, у матери с отцом — кредит на дом, и сад запущенный, денег только на необходимые тряпки хватает. Правильно, нечего малявку баловать. С детьми строгость нужна и разумное воспитание. У них, у ростков этих, и так детство — сказка, не то, что наше, голодное. Но рука уже тянется к заветной наволочке. Мелко дрожит, вытаскивая скатанную трубочкой десятиевровоую купюру. И не видела Елизавета Генриховна, как блестели жадные глаза ребенка, точнее, заметила, но подумала, что сияют они от благодарности.

Одиннадцать лет — возраст первых трещинок на скорлупе детства, любви «вприглядку» и бесшабашной дружбы. Самый нежный, самый трогательный девичий рассвет. Пока старость мечтала о скорбных ангелах и траурных венках, юность шлепала белоснежными найками по весенним газонам, расцветала, выпуская первые зеленые листочки, наряжалась в пух и прах, и, как молодой тетеревок на току, распушала хвост — а когда же его распушать, если не весной? Усталая Лена — и та удивлялась, как переменялась Софи. Всего за какие-то пару месяцев. Кофточки у нее появились красивые, и юбочки подстает кофточкам, и леггинсы, черные, разноцветные, узорчатые, и туфельки-лодочки, модные кроссовки, цепочки, браслетики, сумка кожаная. То розовый зонтик приютится в шкафу, то флакончик духов на полке. То что-нибудь совсем детское — плюшевый заяц, маленькая куколка... Отец балует? «Надо бы сказать Саше, чтобы не задаривал девчонку. Ну, зачем ей такие выпендренные часы? Наушники? Только слух портить. А телефон? С интернетом, с камерой... Сколько он стоит-то хоть?», — думала Лена, но все откладывала разговор. Ей нравилось видеть дочь счастливой и нарядной, да и сил на серьезные беседы не было. Софи и двигалась теперь иначе — плавно, с достоинством. Смеялась громко. Подружки смотрели ей в рот.

Развязка не заставила себя ждать. Как-то вечером — семья Дойчей как раз села за стол — в дверь позвонили. Лена, как была, с ложкой в одной руке и полотенцем в другой, пошла открывать. Следом нехотя поплелся Алекс. За дверью стояли супруги Хорст и Мартина Фуксы с дочкой Лаурой, одноклассницей Софи. Девчонка, лохматая, как пудель — челка в мелких кудряшках, выпрямленные светлые волосы свисают по бокам, будто собачьи уши — смотрела на Дойчей хмуро, исподлобья.

— Добрый вечер, мы на пару минут, — извинился господин Фукс и легонько подтолкнул жену вперед.

Лена видела, как Лаура быстро переглянулась с подбевжавшей Софи.

— Фрау Дойч, — сказала Мартина, — простите за вторжение. Господин Дойч, мы бы хотели кое-что обсудить. Сегодня наши девочки ездили в город, и Лаура принесла

домой вот это, — она порылась в кармане, и в протянутую ладонь Александра легло резное колечко с голубым камешком, за ним струйкой вытекла цепочка, блеснули маленькие клипсы. Вещички едва ли золотые, но и дешевкой не выглядят.

— Что это?

— Лаура говорит, что Софи купила себе и ей — в подарок. В Сааргалерее, в каком-то бутике, а расплатилась четырьмя пятидесятиевровыми банкнотами. Вот нам и... — Мартина сглотнула, — мне и Хорсту показалось необычным, что девочке дают такие карманные деньги. Конечно, если вы... то все нормально, но мы подумали... правда, Хорст?

Фрау Фукс запнулась, краснея от неловкости. Господин Фукс послушно кивал каждому ее слову.

Последовавшую за тем немую сцену нет нужды описывать. Однако немой она оставалась недолго. Лена и Алекс заговорили разом.

— Нет, конечно, нет. Какие карманные деньги? Двести евро — вот так, на ветер? Мы живем скромно... Софи, где ты это взяла? — повернулась Лена к дочери, но та стояла, опустив голову и крепко сжав губы. — Ну?

Супруги Фукс торопливо попрощались.

— Софи, кто дал тебе двести евро? — повысила голос Лена. В голову лезли мысли одна другой страшнее. Какой-то маньяк-педофил попользовался и заплатил? Да нет. Девочка — не такая, она бы не стала... Чушь... Да и не заметить нельзя. А что же тогда? — Саша, ну поговори ты с ней, уже наконец!

— Софи, — нехотя пробасил Александр. — Ответь матери.

Алекс работал сортировщиком мусора. Он был королем мусорного царства, мэром мусорного города, и весь день проводил среди контейнеров с ломаной мебелью, гор отрабатанного пластика, битого кирпича, стекла и картона. Поэтому все в мире ему казалось мусором, в том числе жалкие блестяшки, из-за которых разгорелся сыр-бор.

Софи молчала, носком туфли ковыряя щербинку на ламинате. Под веками набрякли злые слезинки. Алекс и Лена смотрели на нее, и никто не видел Елизавету Генриховну, которая — прямая и бледная, как сама смерть — застыла в дверях, а затем вдруг повернулась и ушла. Ее обнаружили спустя полтора часа. Старая фрау скрючилась на диване, прижимая к груди похудевшую наволочку.

Через два дня Елизавета Генриховна скончалась в больнице от инсульта. Хоронили бабушку на деньги семьи.

РЖАВЫЙ ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК

Сколько развелось на свете умеющих наводить морок — видимо-невидимо. Ворожен, маги всех цветов радуги, длинноволосые ведьмы, шептуны с губами черными и сморщенными, как сухие маслины. Тайны их на ладонях записаны. В глазах — мрак и алчность, за которые в средние века гореть бы им всем на кострах. Миновали дни, когда этот люд шел через Виллингген, как цыгане — табором, и каждого простака норвилл облепить, точно мухи сладкий кусок пирога. Остались гордые одиночки. Схоронились по норам и ловят, как на блесну — кого на страх, кого на гордыню, кого на несчастную любовь. Их не любят, о помощи просят стыдливо и чураются, как прокаженных.

Обратиться к магу, все равно что взять в долг у дьявола, но берут — когда припрет.

Есть и другие — не корыстные профессионалы, привыкшие из любой человеческой беды вытягивать золотые соки, а колдуны поневоле. Женщины, обычно темноокие, реннивые, падкие до чужого счастья. Магия их не запечатана в колоде карт или в сыром курином яйце, не отлита из горячего воска и не каплет ядом с острия булавки, а совершается тайно, в глубине сердца. Как взглянут — так и засохнет счастье, будто срезанная ветка. Этим боятся и ненавидят больше всего, потому что деньгами от них не откупиться, а только слезами и кровью.

У Марты фон Лурен глаза не завистливые — голубые и мокрые, как талые сосульки, но все равно ее дом жители городка обходят стороной. Дом — по годам старинный, родовой, а по сути просто запущенный и старый, в котором она вот уже больше чем полвека бьется в горькой нужде.

Болтают о Марте, будто умеет насыпать порчу — но не обычную, от которой потом человек болеет — а незлую, легкую, с тонким флером волшебства. Только порча — она порча и есть. Пугаются люди. Говорят, дочка Людвиг Циммера, местного торговца всяким старьем, как перекинулась с фрау фон Лурен парой слов, так через три месяца вышла замуж за индуса. Бедный Людвиг от горя чуть не наложил на себя руки. Потом пообвык, правда. Индус работающий оказался, хозяйственный. Магазинчик отремонтировал и музей антиквариата при нем открыл.

А младший сын Шрайнеров, после того, как пообщался с фон Лурен, бросил столярничать, уехал в Берлин, где, говорят, сделался художником. Художник — это разве профессия?

Да вот, Кевин Кляйн. Пожелала ему как-то Марта доброго здоровья, и он тем же вечером вместо пивной прямоком отправился в тренажерный зал — качать пресс вместе с пятнадцатилетними пацанами. Может, оно и полезно и само по себе неплохо, а все-таки кому приятно ходить под морком?

Или бывает, по улице ковыляя, мальчишке какому-нибудь подмигнет, мол, что руки прячешь, али украл чего? Тот и залетится краской, и отправится к матери с повинной — сознаваться, что стащил накануне из тумбочки десять евро на кино.

Так что Марту в Виллингине не любили. Встречали кривыми улыбками, а провожали недобрый шепотком. Пробегая — если случалось — в дневном угаре мимо щербатого от времени особняка фон Луренов, невольно замедляли шаг. Коротко втягивали в себя искристый, пропитанный ожиданием чуда воздух, тотчас сердито мотали головой и, не задумываясь, что их остановило, неслись дальше. Даже молодой почтальон Патрик, остерегаясь приближаться к входной двери, клал письма и рекламные листки на нижнюю ступеньку и сверху придавливал камешком, чтобы не унес ветер. Почтового ящика у Марты не было.

Однако в тот день в его сумке лежало заказное письмо для фрау фон Лурен, так что волей-неволей пришлось подняться на крыльцо и позвонить. В глубине дома что-то затрещало и зашаркало, заскрипело, как в не смазанном часовом механизме. На пороге возникла худая и очень красивая старуха в чем-то похожем на японское кимоно, подпоясанное разноцветным оби, и в короне тускло-серебряных, нечесаных волос. Она строго взглянула на гостя и, вытянув из манжеты белый платочек, как-то не то по-старчески, не то по-детски вытерла слезящиеся глаза. Патрик удивленно моргнул и тут же понял, что на старухе

надето вовсе не кимоно, а штопанный-перештопанный байковый халат.

Фрау фон Лурен, вам заказное. Распишитесь, пожалуйста, вот здесь, — сказал он застенчиво и ловко всунул фирменно-почтовую желтую ручку в ее сухие пальцы.

Спасибо, милый. Дай Бог тебе счастья.

Она стояла в дверном проеме и смотрела, как Патрик чуть ли не вприпрыжку спускается с крыльца и радостно топает по садовой дорожке, а потом вернулась в комнату и надорвала конверт. Оттуда выпал сложенный вчетверо бледно-голубой листок, по которому, словно птицы по весеннему небу, разлетелись мелкие черные буквы. Фредерик пишет, брат. Марта села к столу и нацепила на нос очки, и оттого, что стекла в них были старые и поцарапанные, весь мир вокруг нее потемнел и дал трещину, расколовшись на две одинаково тусклые половинки.

А юного почтальона вдруг охватила такая жажда счастья, что хоть скидывай башмаки да иди босиком по апрельским ручьям. Обувь он, конечно, не снял, но зашагал уверенно, не обходя мелкие лужицы. Брызги взметнулись радугой, и слова любви, которые Патрик вот уже полгода не решался сказать хорошенькой коллеге, вдруг засверкали прямо перед ним, среди весенней грязи, драгоценными камнями. Он подобрал их бережно — взглядом — и понес той, которой они были предназначены.

Фрау фон Лурен тем временем развернула листок и приготовилась к долгой и обстоятельной беседе с братом. Письма — это совсем не то, что телефонный разговор, когда мнешься и не знаешь, чем заполнить паузы, или, наоборот, не успеваешь вставить ни звука. Чужой голос вьется вокруг тебя, как осенняя пчела, зудит у виска, и не отмахнуться от него, не угадать, куда ужалит. Марта старалась как можно реже говорить по телефону. Другое дело — сесть удобно в кресло, заварить себе чашечку кофе и читать медленно, смакуя каждую строчку, каждый оттенок обращенных к тебе слов, каждый глоток эмоций. Если спросишь письмо — оно ответит. Посетуешь на плохое настроение, дурной сон, дождливую погоду, ломоту в спине или в колене — и на тебя прольется целебное сострадание близкого человека. Вот что такое чтение писем. А телефон? Ерунда. Пустышка.

«Здравствуй, сестра, — писал Фредерик, — как ты там, в нашей деревеньке? Не сомневаюсь, что все так же — у вас там никогда ничего не происходит. Этакое райское болотце, от которого раньше хотелось уехать подальше, чтобы не затянуло — потому что человеком хотелось быть, а не лягушкой — а теперь все чаще вспоминаю его с тоской. Приехать бы, посмотреть на родительский дом (совсем развалился, небось? И раньше-то был весь в заплатках), но, видно уже не судьба. Болею. Вроде бы ничем конкретным — а просто света в глазах осталось мало и в руках никакой силы. Еле перо держу. Старые мы стали, сестра...»

Старые? — гневно трянула головой Марта. — Ну нет. Рано ты сдался, Фредерик! Ты же на два года младше. На целых два года!

Даже сейчас, восьмидесятилетняя, она не признавала старости. Работать всегда приходилось много и тяжело, до вздувшихся на руках вен и отнюдь не благородной синевы под глазами. Часто перебивалась с хлеба на воду. От зеркала отшучивалась: «Настоящие принцессы не стареют». Верила, что все еще будет, даже тогда, когда любая другая поняла бы, что надеяться не на что. Только шесть месяцев назад, впервые ощутив долгую, тягучую боль в спине — такую острую, что перехватило дыхание — осознала, что

чудесная сказка под названием жизнь подошла к концу. Ну что ж. Все на свете когда-нибудь кончается. Смерть — это любопытно, рассуждала она про себя. Куда-нибудь она да ведет. Лучше дверь в конце коридора, чем глухая стена. Марта готова была принять смерть, но не старость. Приступы учащались, и зазорное «будет» постепенно уступало место спокойно-философскому «не суждено».

«Так что, наверное, больше не увидимся, — продолжал посрамленный ее отповедью Фредерик, и Марта внутренним зрением увидела его, как настоящего, сидящего напротив за столом. Заскорузлым ногтем он ковырял темные разводы на скатерти. — Знаешь, сестра, хотел тебе признаться в одной мелочи. Ты посмеешься, наверное... Детская шалость. Сколько воды утекло. Помнишь — твой сон, прабабкин портрет, ключик под подушкой? Ты его долго потом хранила...»

Долго? Она хранила его и сейчас — в резной шкатулке, в ящике секретера. Не просто хранила, а берегла, как талисман, или он берег ее — это как посмотреть. Именно от него, как фонарик от батарейки, питалась волшебная аура старого дома. Где бы Марта ни находилась, о чем бы ни думала — а размышляла она о многом — мысли все равно тянулись к нему, как железная крошка к магниту. Маленький ключик был магическим сердцем ее мира, а исходившее от него властное сияние — тем воздухом, которым она вот уже больше семидесяти лет дышала. Изо дня в день.

Семь лет ей было в тот день, когда прабабка Элиза впервые сошла с фамильного портрета и тихо встала в изголовье кровати. Фрау фон Лурен и сейчас не могла бы сказать, наяву это случилось или во сне. Лунные пятна на полу блестели скользко, как разлитое масло. Мутное, в ошметках облаков ночное небо затекало через форточку и бледной промокашкой ложилось на одеяло. Голубое платье прабабки шелестело, точно тюлевая занавеска, и так же бесплотно колыхалось на сквозняке. Элиза — очень похожая на добрую фею, только не юную, как обычно изображают фей, а седовласую — призывно вскинула брови, белесые и тонкие, как у всех фон Луренов, и протянула девочке руку — ладонью вверх. На ладони, окутанный шелковым светом, лежал золотой ключик.

Дальнейшее Марте виделось смутно — словно сквозь зеленую толщу воды. Дверь в стене, отпертая одним поворотом ключа, запах гнилых луж и плесени, звонкий водопад монет, хлынувший откуда-то сверху, неудержимо, как полуденное солнце из раскрытого окна. Собственные ноги в белых колготках, по щиколотку в золоте. Как это часто бывает, Марта чувствовала себя одновременно наблюдателем и персонажем сновидения. Наутро, за завтраком, рассказала отцу и матери о ночной гостье. Те, как ни странно — да, это до сих пор кажется Марте странным — отреагировали испуганно, и в тот же день портрет Элизы фон Лурен из детской спальни перевесили в гостиную. Девочке посоветовали не есть после ужина сладкое и прочесть три раза вечернюю молитву.

Ночью все повторилось, только на этот раз Элиза не вылезла, придерживая двумя пальцами подол, из дубовой рамы, а соткалась из холодного тумана прямо рядом с правнучкиной постелью. Скрежет ключа в замке, плюшевые ото мха кирпичи, золотой водопад... «Я самая богатая девочка на свете!» — вскрикнула во сне Марта и открыла глаза. Солнце било ей в лицо, сверкало ярко, как прабабкины сокровища, рассыпалось монетками по темным половикам. Удивительное ощущение — причастности к тайне, обещание чего-то радостного и важного — не покидало ее

много дней. По правде говоря, оно не покидало ее больше никогда.

«Вот найду тот ключик, — уверяла она брата, единственного — так уж получилось — товарища по детским играм, — и, знаешь, какой мы тогда дом построим! Виллу! Нет, дворец... И самолет купим, настоящий». Дальше дома и самолета ее фантазия тогда не шла, но главное заключалось не в них. Возможность получить все, что хочешь — вот что сулил призрачный дар Элизы фон Лурен.

Марта не просто верила в чудо — она не сомневалась в нем. И ключ появился. Не сразу, а лет через пять. Одним пасмурным утром она обнаружила его под подушкой. Почти такой же, как во сне — чуть более крупный, чуть более увесистый, холодный и неравномерный на ощупь, как чешуя диковинной рыбы — и золотой-золотой. В его зубчатой бородке блуждали крошечные закатные искры.

Теперь дело оставалось за малым — отыскать нужную дверь. Ту, что открылась бы заветным ключиком. Дождаться, когда она вынырнет из небытия. Внезапно и необъяснимо, как и положено любому чуду — в подарок. Марта фон Лурен искала — сначала уверенно, как свою, знакомую, но временно куда-то запропастившуюся вещь, потом — с неловкой надеждой, затем — с тоской. Последние годы она многое переосмыслила и решила, что, возможно, золотая река ее сна обещала не материальные, а духовные или даже нравственные богатства. Например, трудолюбие или честность. Такой вот символ доброты прожитой жизни. Тоска прошла, и Марта снова почувствовала себя счастливой.

«Помнишь — твой сон, прабабкин портрет, ключик под подушкой? Ты его долго потом хранила... Наверное, спрашивала себя не раз, откуда он взялся? Чудес-то не бывает. Так вот, не хочу, чтобы ты грешила на родителей или на домовых (которых тоже не бывает, разумеется), а повинись. Это я его тебе подбросил. Уж очень ты красиво мечтала — так, что захотелось немножко подыграть. Да, скверно пошутил. Давно хотел рассказать, но как-то все не приходилось к слову.

Ключ от подвала, ну, того, где валяется всякий хлам столетней давности. Теперь — когда я во всем признался — ты можешь, наконец, навести там порядок. Если не боишься крыс и пауков. Хе-хе, сестра».

По губам фрау фон Лурен скользнула рассеянная улыбка. В этом он весь, Фредерик. Она не сердилась на брата за шутку. Легкая, ей самой не понятная досада, вспыхнув на миг, тотчас угасла. Сидящий за столом фантом Фредерика пугливо съехал и, побледнев, рассеялся в воздухе, а Марта выдвинула ящик секретера и взяла в руки шкатулку. Ключик сверкал сквозь щели, рвался наружу, точно запертый в темноте луч света. Казалось, внутри таится по меньшей мере драгоценный камень, а не старая — в безобразных пятнах ржавчины — завернутая в кусок фольги железка. Фрау фон Лурен аккуратно, медленно — точно совершала некий ритуал — очистила ключ от обрывков фальшивого золота. По скрипучей лестнице, ощупывая напряженными пальцами ветхие перила и стараясь не потерять тапочки, Марта спустилась в подвал.

Давно сюда никто не заглядывал. Паутина. Гнилой запах стоячей воды. Пыль гириляндами свешивается с потолка. Ступеньки гнутые, неприятно мягкий пол, и не разберешь в полумраке, что там, под ногами — плесень, лишайники, клочья давно истлевшего половика или просто вековая грязь. Сколько раз Марта представляла себе эту дверь — тяжелую, склизкую и сырую. Сколько раз видела во сне. Ручка отвалилась. Трещины, как глубокие морщины, избо-

роздили темное дерево. Но ключ повернулся в замке легко, точно заговоренный — ее ожиданием, страхами, ее наивной верой. В узком подвальном помещении оказалось неожиданно светло и пахло иначе, не как в остальном доме — не старостью, а стариной. Марта неторопливо пошла вдоль выстроенных у стены стульев, корзин, плетеных кресел и чемоданов, вдоль складных трехстворчатых зеркал и полок, заставленных высокими кувшинами, кринками и бутылками с вином. Она как будто очутилась не то в антикварной лавке, не то в некоем волшебном мире, где время дремлет, свернувшись калачиком в позе эмбриона. Мир-младенец, еще не познавший взрослых разочарований.

Фрау фон Лурен погрузилась в уютные воспоминания — глубокие, дозачаточные. Вещи говорили с ней тихо — смутными голосами — убаюкивали. Заслушавшись, Марта споткнулась и с налета ухватилась рукой за полку. Та качнулась, стоящий на ней глиняный кувшин повалился на бок, и — словно кто-то распахнул окно в ясный день — к ногам фрау фон Лурен хлынул золотой водопад. Марта оцепенела, прижав руки к груди, захлестнутая властным чувством дежавю. Она не удивилась, нет. Ведь этой минуты она ждала всю жизнь. дождалась... Старинные монеты катились по полу, забиваясь под кресла и стулья, собираясь в солнечные лужицы, и все текли, глухо шелестя, из опрокинутого кувшина.

«Вот если бы раньше, — думала Марта. — Что же ты так долго молчал, Фредерик? Ты один знал, откуда ключ — и молчал!»

Как бы все сложилось, доберись она до нужного замка шестьдесят лет назад? Бог с ними, с дворцами и самолетами. Она могла бы уехать в город и поступить в университет. Марта всегда хотела стать учительницей. Наверное, вышла бы замуж, родила сына или дочь, а может, и двоих, а еще лучше троих детей. Любовь не товар, но все-таки богатая и образованная невеста — это совсем не то, что нищая и полуграмотная. А что теперь? Прожитые годы обратно не выкупишь. Завещать деньги — и то некому. Она и брат — последние зеленые веточки на мертвом стволе, и то скоро засохнут. Разве что гроб дорогой заказать да ангела мраморного на могилу?

Марта печально усмехнулась. Глупое тщеславие. Земное сокровище надо тратить на живых, а не на мертвых. Сколько хороших людей вокруг, и у каждого своя мечта. Каждый достоин подарка. Вот, хоть мальчик этот, почтальон. Как его? Пауль? Петер? Влюбленный, точно влюбленный. По глазам видно.

«Надо бы ему помочь, поддержать. Пусть женится, хозяйство заведет, дом построит. Молодым деньги нужны, а мне и простого камня на могиле хватит», — подумала фрау фон Лурен, и мысли ее опять обратились к вечному.

КНОПКА

Мы называли его Маленьким Принцем, хотя на принца он походил меньше всего. Тощий и кривобокий, и ходил чудно — одной ногой шагал, другую приволакивал. Да и с головой у него было не в порядке.

— Я, — говорил он всем, кто соглашался слушать, а таких с каждым разом находилось все меньше и меньше, — хранитель. И дед мой всю жизнь прожил хранителем, и отец — это у нас в семье наследственное. Передается от отца к сыну».

Если вы имели глупость спросить, кто такой хранитель — бегите, пока Маленький Принц не сел на своего любимого конька. Иначе он заболтает вас до смерти.

— Когда Бог творил Землю, — примется он рассказывать и, если вы не успели удрать, вцепится вам в рукав мертвой хваткой, — он все хорошо продумал. Весь механизм, и как солнце встает, а потом опять садится, и как звезды загораются, и как весна приходит после зимы, и приливы-отливы морские, и фазы луны. И как яблоки зреют, и снег идет, и гусеницы превращаются в бабочек, и птицы высиживают птенцов. Все должно было происходить автоматически и в правильном порядке.

Так говорил Маленький Принц, и, если в этом месте вы начинали смеяться, лицо его кривилось, точно от боли, и щеку сводил тик.

— Да, вот как Бог создал Землю! — говорил он, захлебываясь слюной, и от волнения получалось очень громко. Почти крик выходил. — Придумал так, что лучше и не надо. Но потом что-то разладилось. Земля-то старая, и механизм, что ей управляет — старый. Теперь, чтобы день начался, надо нажимать на аварийную кнопку. Тогда шторы поднимаются и становится светло, и просыпается солнце, птицы поют... Она, эта кнопка, специально сделана на случай, если что-то заест, а не затем, чтобы пользоваться ей постоянно. Но если по-другому никак не работает, приходится все время давить на кнопку, правда? Давить и давить — пока рука не отсохнет.

Самое смешное, что у Маленького Принца, и в самом деле, была сухая рука. Поэтому даже те, кто до этого сохранял серьезность — усмехались, а девчонки прыскали в кулак.

— Звезды выключить — кнопка! Туман разогнать — кнопка! Или, наоборот, облака собрать в кучу, чтобы пошел дождь. Кнопка! Да без нее ни один цветок не раскроется! Глаза продрать не успею, а уже бегу — нажимать. На пять минут опоздаешь, и люди поймут, что-то в мире не так. Сломалось. А понять они не должны. Начнется паника. Вот и кручусь, и отец мой так крутился, и дед, и прадед.

В общем, «проснулся утром — убери свою планету, иначе она вся зарастет баобабам».

Звали его по-настоящему то ли Карл, то ли Клаус, а то и вовсе Клод, какое-то стариковское имя, провонявшее нафталином. И, под стать имени, одежда, словно вынутая из бабкиного сундука, висела на нем, как на пугале.

— И это чучело — хранитель какого-то вселенского движка? — хохотали мы. — Клаус, а Клаус, а где она, твоя кнопка?

Маленький Принц напускал на себя таинственный и печальный вид.

— Не разглядите ни за что. Нужно знать, где она, а вы понятия не имеете и не понимаете, как все в мире устроено. Я и отец мой знали, а больше никто. Посмотрите, — он складывал обе ладони лодочкой, указывая ими куда-то вниз, себе под ноги, — вся Земля полая. А внутри у нее — рычаги и шестеренки. Как в часах, только сложнее. И кнопка — там же. Она маленькая и невзрачная. Надо, чтобы кто-то пальцем ткнул, иначе не заметишь.

Он так и пыжился, стараясь показать, какая на нем лежит ответственность. Топал ногой в разношенном ботинке, так, что из-под его подметок летела пыль, и видны становились контуры продолговатой чугунной крышки с надписью: «гидрант». Таких люков было полно по всей улице. Совсем крошечных, не более десяти сантиметров в поперечнике, и маленьких, и больших, в которые вполне мог бы

спуститься человек. В «гидрантах» прятались водопроводные краны — я сам видел, как их доставали во время домашних работ, в маленьких люках — провода и розетки, а большие, очевидно, вели в канализационные шахты. Получалось, что улица и в самом деле полая изнутри, начиненная всяким оборудованием, и Маленький Принц в какой-то мере оказывался прав.

Конечно, над ним издевались, как всегда глумятся над такими, как он. Мелюзга — чаще, а старшие ребята — изощреннее. Вымазать мелом дверь, которая болталась на одной петле и не запиралась — видно, и красть у бедолаги было нечего — или позвонить в звонок и убежать — это забава для первоклашек. Оставить на пороге целлофановый пакет с водой — тоже много ума не надо. Мы умели штуки покруче. Петер, к примеру, подходил этак небрежно, с серьезным лицом, когда чудик сидел на лавочке у своего дома, и спрашивал:

— Не подскажете, который час?

У Маленького Принца отчего-то были сложные отношения со временем. Оно его пугало, почти вгоняло в ступор. Он застывал столбом и, бледнея, кренился, как дерево в бурю. Губы начинали дрожать, перекашивалась щека, и весь его облик, и без того уродливый и кривой, уродовался и кривился еще больше. На невинный вопрос о времени он или не отвечал ничего или — невпопад — цедил, сквозь зубы:

— Поздно.

Мы с Аникой давились от хохота, а Петер подчеркнуто вежливо переспрашивал:

— Что? Который, говоришь, час? А, Карл?

Тогда этот кретин принимался смешно мотать головой, как будто в уши ему зудел целый рой голодных комаров.

Иногда я садился рядом с Маленьким Принцем на скамеечку и, притворяясь взволнованным, шептал:

— Клаус, ну, по секрету? Где твоя кнопка? А то вдруг с тобой что-нибудь случится — и мир пропадет без солнца?

— Со мной? — пугался он. — Нет, не должно!

— А вдруг?

Тогда этот придурок Клод смотрел на меня долгим, прозрачным взглядом, и глаза его становились, как морская вода, синими и пустыми.

— А вдруг? — повторял он растерянно. — Нет, не хорошо. Кнопку я получил от отца, который ее получил от моего деда, значит, я должен передать ее моему сыну.

И тут, из-за угла, как чертенята из табакерки, выныривали Петер и Аника, и мы, втроем, хохотали:

— У тебя никогда не будет сына, Клаус! Посмотри на себя в зеркало!

Но самую забавную шутку выдумала Аника. Она пекла для Карла пирожки со всякой гадостью — просто заворачивала в кусок готового теста что-нибудь несъедобное: бумагу, например, или опилки, и запекала в духовке. Маленький Принц съедал все. Не думаю, что он был такой уж голодный, в конце концов, ему платили какое-то пособие по инвалидности. Скорее, он считал невежливым отказываться от угощения. А может, не хотел огорчать Анику. Морщился, но ел.

— Сожрал! — прыскала в кулак Аника, как только мы скрывались за углом и Карл-Клаус-Клод не мог нас больше услышать.

— А что там было? — интересовался Петер.

— Наверное, его мама в детстве учила не выбрасывать еду, — добавлял я.